

Николай Семёнович Лесков

Зимний день



Николай Семёнович Лесков

Зимний день

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=175248

Аннотация

«Зимним, северный день с небольшою оттепелью. Два часа. Рассвет не успел оглядеться, и опять смеркается.

В гостиной второй руки сидят за столом хозяйка и гостя. Хозяйка стара, и вид ее можно бы назвать почтенным, если бы на лице ее не отпечатлелось слишком много заботливости и искательности. Она зрела когда-то лучшие дни и еще не потеряла надежды их возвратить, но она не знает, что для этого надо сделать. Чтобы ничего не упустить, она готова быть всем на свете: это «сосуд», сформованный «в честь» и служащий ныне «сосудом в поношение». Гостя, которую застаем у этой хозяйки, тоже не молода...»

Содержание

I	4
II	16
III	23
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Николай Лесков

Зимний день

(Пейзаж и жанр)

*Днем они сретают тьму и в полдень
ходят ощупью, как ночью.*

Иова, V, 14,

*У Спаса бьют, у Николы звонят,
у старого Егорья часы говорят.*

В. Даль (Присловие).

I

Зимним, северный день с небольшою оттепелью. Два часа. Рассвет не успел оглядеться, и опять смеркается.

В гостиной второй руки сидят за столом хозяйка и гостья. Хозяйка стара, и вид ее можно бы назвать почтенным, если бы на лице ее не отпечатлелось слишком много заботливости и искательности. Она зрела когда-то лучшие дни и еще не потеряла надежды их возвратить, но она не знает, чту для этого надо сделать. Чтобы ничего не упустить, она готова быть всем на свете: это «сосуд», сформованный «в честь» и служащий ныне «сосудом в поношение». Гостья, которую заста-

ем у этой хозяйки, тоже не молода. Во всяком случае она уже дожила до тех лет, когда можно отказаться от игры в чувства, но она, кажется, от этого еще не отказалась. Эта женщина, без сомнения, была замечательно хороша собою, но теперь, когда она отцвела, от прежних красот остались только «боресты»; фигура ее, однако, еще гибка, и черты лица сохраняют правильность, а в выражении преобладает замечательная смешанность: то она смотрит тихую ланью, то вдруг эта лань взметнется брыкливою козой.

Бескорыстно увлекаться этою дамой уже нельзя, но, быть может, что-нибудь в этом роде еще возможно, если она поставит вопрос иначе. В своей манере держаться по отношению к солидной хозяйке гостья оттеняет что-то особенно теплое и почтительное, даже как бы дочернее, но эти дамы вовсе не родственницы. Их соединяет дружба, основанная не на одном согласии их вкусов, но и на единстве целей: их объединяет «*métier*».¹

Теперь они пьют чай, который подан на гараховском сервизе, покрытом вязаным одеяльцем, и гостья сообщает хозяйке о том, что случилось замечательного, и о том, что «говорят». Говорят о соперничестве двух каких-то чудотворцев, а случилось нечто еще более интересное и достойное внимания: вчера совершенно неожиданно приехала из-за границы кузина Олимпия. Это известная особа, она с давних пор посвятила себя «вопросам» и постоянно живет в чужих кра-

¹ Ремесло (франц.).

ях; но когда она приезжает сюда, она привозит с собою кучу новостей и «делает оживление». Ее жизнь есть нечто удивительное: она не богата. О, совсем не богата! Она даже не имеет решительно никаких средств, но при всем том она ни у кого не занимает и не жалуется на свое положение, а еще приносит своей стране очень много пользы.

Таких дам теперь, слава богу, есть несколько, но Олимпия занимает между ними самое видное место. У нее большое и прекрасное родство. Она родственница и тем двум дамам, которые здесь о ней разговаривают. Во всех глазах Олимпия – величина очень большая, и все ей верят, несмотря на предостережение, которое Диккенс делал против всех лиц, живущих неизвестными средствами.

Домой, на родину, Олимпия наворачтывается всегда внезапно и на короткое время: приедет, бросит взгляд, с одним, с другим повидается, «освежит ресурсы» и уедет снова. Многие говорят, что она очень талантлива, но, что еще важнее всего, она совершенно необходима.

Хозяйка на нее немножко недовольна и обращает внимание на то, как дует в окна. Кроме того, она сообщает, что Виктор Густавыч сожалеет еще, что Олимпия не хочет «ладить». Иначе она непременно стала бы очень необходима.

– Впрочем, это нимало не мешает Олимпии отлично себя держать, – заключает хозяйка, – так как Виктор Густавыч сам ни в чем не уверен. Это немало значит.

Гостья глядит глазами лани и этим взглядом отвечает, что

она согласна, причем делает маленькое движение брыкливой козы и взглядывает на шезлонг, помещающийся перед камином между трельяжем и экраном.

В стороне от дам, в очень глубоком кресле за трельяжем, полулежит, скрестив на груди руки и закрыв глаза, миловидная девушка лет двадцати трех или четырех. Она, по-видимому, совсем не интересуется тем, о чем говорят дамы: она устала и отдыхает, а может быть, она даже спит. Эта девушка – племянница хозяйки; родные называют ее просто Лидия, а чужие Лидия Павловна. Она нелюбима в своей семье, потому что ведет себя не так, как хочется матери и братьям. Братья ее – блестящие офицеры, и один из них уже дрался на дуэли. Лидия не в фаворе тоже и у тетки, которую она зашла теперь навестить в кои-то веки, но и то не скрыла, что чувствует себя здесь не на своем месте.

Хозяйка посмотрела на Лидию и сказала:

– Она спит. Впрочем, – добавила она, – если б она и не спала, это ей все равно: она нимало не интересуется обществом. Что не касается их курсов, того ей и не надо. Но Олимпия, в которой я не отрицаю ее ума и связей, все-таки очень шлепнулась с тех пор, как она в свой прошлый приезд хотела развести историю с этими высеченными болгарами. Помните, какая тогда с этим было вышла чепуха. Они тогда прознали, что она едет, и сами наехали сюда в большом множестве и все рассказывали, что у них будто бы уже всех секут и что их самих будто тоже всех высекли. Олимпия хотела этим вос-

пользоваться, но увлеклась, и когда с ней спорили, что они хвастаются, то она уверяла, что их будто здесь осматривали в какой-то редакции, и потом, чтобы поднять их значение, она хотела нарочно открыть с ними бал, но тогда стали говорить, что иностранки, пожалуй, не пойдут, потому что, знаете, с сечеными ведь некоторые не танцуют.

– Я помню это. И, как хотите, танцевать с сечеными... Это... это очень необыкновенно!

– Ну да! – продолжала хозяйка, – а после кто-то проведал, что это даже и затевать не надобно, потому что эти господа будто сами себя здесь секут в каком-то переулке, для того чтобы им удобнее было привлечь внимание... Говорили, что Олимпия будто это и знала... Это бог весть что такое!.. А потом опять оказалось, будто и это неправда, потому что в переулке их хоть и секли, но совсем не для этого, а их так лечил какой-то их компатриот, вроде массажа... Бог уж их знает, как и разобрать, что правда и что неправда.

– Да, это вышла какая-то путаница, в которой нельзя было ничего разобрать, кроме того, что их секли там и секли здесь.

– Вот именно – разгордыж! И это повело к большой потере, потому что брат Лука рассердился и не только перестал давать денег на славянство, а даже не захотел и слушать. Он ведь, знаете, как осел упрям и прямо сказал: «Все обман!» – и не велел пускать к себе не только славян, а и самое Олимпию, и послал ей в насмешку перо.

– Какое перо?

– Не знаю какое, – говорили, будто сорочье перо, в шапочку.

– Да разве?

– Конечно! Вот, дескать, тебе, сорока, летай, и теперь никого не принимает.

– На каком это основании Лука Семеныч так дорого ценит свои приемы?

– Богат и ни у кого ничего не ищет, – вот и может не принимать, кого не хочет видеть.

– Но ведь у него никакого другого влияния и нет?

– Никакого. Но все боятся, что он их не примет. Гостья понизила тон и спросила:

– Вы у него этой зимой были?

Хозяйка сделала отрицательный знак и проговорила:

– Он слишком колок.

– И Аркадий тоже, кажется, у него не бывает?

– Ни Аркадий, ни Валерий: он моих обоих сыновей ненавидит.

– Сварливый старик! Кого же он, однако, теперь принимает?

– Из всех родных к нему теперь вхожи только двое: брат Захар и вот она – Лида.

Гостья кивнула головой на трельяж и улыбнулась.

– Что он принимает Лидию Павловну – это я понимаю. Не принимать людей с весом и значением и ласкать племянницу-фельдшерицу, которая идет наперекор общественным

традициям, – это в его вкусе. Так Лука Семеныч манкирует тем, кто желал бы быть у него принят. Но почему из всех родных второе исключение предоставлено Захару Семенычу? Наш милый генерал такой же, как и все мы, бедный грешник.

– Старик Захарушку щадит: «Он, говорит, наш брат Захар, наказан в сытость за якшательство с дурными людьми. Пусть бог простит, что он себе устроил».

– Ах, вот что!

Девушка за трельяжем пошевелилась. Дамы это заметили, и гостя, улыбнувшись, промолвила тихо:

– Неужели она опять уснет?

– Наверное, – отвечала хозяйка. – Она так повсеместно: придет, поспит и побежит в свою вонючку «совершать свое дело – потрошить чье-то мертвое тело». Но, однако, надо сказать, что Бертенсон их отлично держит в руках, особенно с тех пор, как они его огорчили.

– Но ведь и он их потом проучил...

– Это правда, но они все-таки от него много терпят.

– Но отчего же Лидии Павловне дома не спать?

– Хаос в семье, все друг другу не нравятся, ей неприятно слышать, что говорят ее братья о гиппических конкурсах и дуэлях, а тем неприятно, что она потрошит мертвое тело, да и матери неприятно слышать, чем она занята, вот и идет весь дом – кто в лес, кто по дрова... Но зато брат Лука ее очень ласкает и даже посылает ей цветы в вонючку.

Гостя кивнула на спящую и тихо спросила:

– Она ведь скоро кончит и будет фельдшеричка?

– Да.

– Мне помнится, она еще давно как будто бы училась перевязкам?

– Ах, ее ученьям несть конца: и гимназия, и педагогия, и высшие курсы – все пройдено, и серьги из ушей вынуты, и корсет снят, и ходит девица во всей простоте.

– По-толстовски?

– Мм... Ну, к Толстому, знаете... молодежь к нему теперь уже совсем охладевает. Я говорила всегда, что это так и будет, и нечего бояться: «не так страшен черт, как его малютки».

Гостья улыбнулась и заметила:

– Это правда: он надоел своей моралью, но ведь было время, что вы не держались этой поговорки, а раньше и сами к нему были пристрастны.

– Я? Да, я переменялась, и я этого и не скрываю. Я всегда очень любила чтение и тогда во всех отношениях была за Толстого. Его Наташа, например! Да разве это не прелесть? Это был мой идол и мое божество! И это так увлекательно, что я не заметила, где там излит этот весь его крайний реализм – про эти пеленки с детскими пятнами. Что же такое? Дети мараются. Без этого им нельзя, и это не производило на меня ничего отвратительного, как на прочих. Или вспомните потом, как у него описан этот Александр Первый.

– Как же! Он одевается?

– Да. Помните, как он пристегивает помочи?

– Ах, это божественно!

– Да; но разве там только одни помочи? Ведь он перед вами тут же весь, как живой!.. Я его вижу, я его чувствую!..

– Тоже очень хорош и Наполеон с его темными глазами.

– У Наполеона были серые глаза.

– Но они давали такое впечатление...

– Об этом не спорю; в этом во всем Толстой несравненен.

Тут нет и спора, но когда он заумничался, бросил свое дело и стал писать глупости, вроде того, чтобы запрещать людям есть мясо и чтобы никто не женился, а девушки чтобы зашивались по шею и не выходили замуж, то я сразу же прямо сказала: это вздор! Тогда лучше всех свести к скопцам, и конец, но я, как православная, я не хочу быть на его стороне.

Тут гостья тихо заметила, что Толстой собственно никогда никому не *запрещал* есть мясо и, кажется, говорил, что иным даже надо жениться.

– Да, я знаю, что *собственно* он еще ничего не запрещал, но, *однако*, для чего он об этом писал так сильнотерпимо?

– Да, он, конечно, писал очень смело, но собственно он, слава богу, у нас еще даже не имеет и права ничего запретить.

– Конечно, слава богу! Но для чего он все это одно только и твердит? Вот это зачем? Он убеждает, что злых не надо обижать, или просто доказывает, что без веры нельзя служить, и все это очень мило, но вдруг сорвется и опять начи-

нает писать глупости: например, зачем мыло? Ну, скажите на милость: он не знает, зачем мыло! Позвольте, но как же без мыла: как мыть руки, голову и, наконец, белье? В золе его, что ли, золить? Но, однако, я бы ему еще и это простила за его прежнее. По совести говоря, все мужчины глупы, когда берутся не за свое дело; но мало ли что говорится! Не всякое же лыко в строку: вольному воля, а спаси нас рай. То же и о мясе. Кто любит рыбное или мучное, пусть и не ест мяса. Какая форма правления ни будь, а к этому нигде и никто никого не принуждает... Сделайте милость! Еще, может быть, от этого для нас филейная вырезка дешевле будет. Не правда ли?

– Конечно.

– Ну, то-то и есть! Все равно и те, кто не хочет жениться или которые не хотят замуж выходить, – они пусть так и остаются, как им угодно. Ведь о них и в Евангелии сказано: «суть скопцы...» Понимаете, это безумцы!

Гостья сделала согласный знак головой.

– У моих сыновей, когда они были мальчики, – продолжала хозяйка, – был репетитор из академистов, очень честолюбивый, но смешной, и все собирался в монахи, а когда мы ему говорили: «Вы, monsieur, лучше женитесь!» – так он на это прямо отвечал: «Не вижу надобности».

Дама слегка полуоборотилась к трельяжу и сказала:

– Лидия, ты проснулась или спишь еще?

– Да, ma tante, – ответил полусонный контрабльто.

– То есть что же это значит: ты выпалась или ты еще спишь?

– Вы, ma tante, вероятно, хотите говорить о чем-нибудь, чего я не должна понимать, и хотите, чтоб я вышла?

– Я хотела бы, чтобы ты вышла, но только не из комнаты, а вышла бы, наконец, замуж.

– А я тоже спрошу вас, как ваш семинарист: «для какой надобности?»

– А вот хотя бы для той надобности, чтобы при тебе можно было обо всем говорить, не стесняясь твоим присутствием.

– Да мне кажется, вы и так не стесняетесь.

– Ну, нет!

– Значит, я еще мало знаю; но считайте, что я замужем и знаю все, что вам известно.

– Послушайте, пожалуйста, что она говорит на себя! Но я вам что-то хотела сказать... Ах да!.. Вы ведь, наверное, слышали, что все рассказывали о том, как к графу приехал будто один родной. какой-то гусар, в своей форме, все в обтяжку, а он будто взял и подвязал ему нянькин фартук, а иначе он не хотел его пустить в салон.

– Да, об этом говорили... и, говорят, это правда.

– Ну да! И если хотите, по-моему, гусарская форма и в самом деле... не совсем скромно.

– Да, но очень красиво!

– Красиво – да. Но и этот фартук, ведь это тоже дерзость! Гусар – и в фартуке! Но вот чего ему еще больше нельзя

простить, это его несносная пронизательность. От нее общественный вред.

– Вот, вот! Конечно, вред обществу нельзя позволить. Я слушаю, в чем вы видите это дело?

II

– А дело в том, что по какому праву господин граф портит нашу прислугу? Если он себя приучил, чтобы все за собою прибирать, то это для него и преудобно; но мы к этому пока еще ведь не стремимся. Не так ли?

– Конечно.

– Так для чего же он навязывает нам невозможную жизнь панибратства с прислугой, которая и груба и порочна?

– Это глупо.

– Конечно, глупо! Я внушила Аркадию, чтоб он сделал это в смешные стихи и прочитал. Вы знаете, его талант в свете ведь очень многим нравится.

– Да, это все говорят, и он такой искательный. О, он пойдет!

– Может быть, и даже вероятно; но о будущем нельзя так судить: будущее, как говорят, «в руках всемогущего бога». Только, конечно, ему в его успехе очень много помогает его симпатичный талант. Второй мой сын, Валерий, совсем иной: это практик!

– О, разумеется! – отвечала, немного смутившись, гостья и торопливо повернула вопрос в другую сторону. – В чем же именно Толстой портит с прислугой? – спросила она.

– Извольте! – отвечала хозяйка. – Мы будем говорить о прислуге как настоящие чиновницы, но это не пустой во-

прос: о прислуге говорит Шопенгауер. Прислуга может вас успокоить и может расстроить. Я вам не буду приводить всех толстовских рацей о прислуге, а прямо дам вам готовую иллюстрацию, как это отражается. У меня вышло расстройство с моею камеристкой... Лидия мешает вам *все* рассказать, но я не могу утерпеть и кое-что расскажу.

– Пожалуйста, ma tante, говорите все, что хотите! – отозвалась девушка. – Я сейчас вот досплю последний кусочек и уйду.

– Коротко скажу, – продолжала хозяйка, – пришлось перед праздником негодницу прогнать. Ну, а перед праздниками, вы знаете, каков наш народ и как трудно найти хорошую смену. Все жадны, все ждут подарков, а любви к господам у них – никакой. На русский народ очень хорошо смотреть издали, особенно когда он молится и верит. Вот, например, у Репина, в «Крестном ходе», где, помните, изображено, как собрались все эти сословные старшины...

– Да; или акварель Петра Соколова...

– Да, но тут немножко много синей краски.

– Это правда: он переложил.

– Наши художники вообще не знают меры.

– Да, но ведь все дело в впечатлении... А у меня, – вы знаете ее, – есть одна знакомая: мы все зовем ее «апостолица». Наверное, знаете!

– Конечно, знаю: вы говорите о Marie?

– О ней. Теперь есть несколько подобных ей печальниц,

но эту я с другими не сравню. Эта на других не похожа, и притом она уже относится к доисторическим временам, когда еще все мы говорили по-французски, и не было в моде ни Засецкой, ни Пейкер, и даже еще сам Редсток не приезжал... Ух, какая старина! Василий Пашков был еще в военном, а Модест Корф обеими руками крестился и при всех в соборе молебны служил в камергерском мундире. А что до Алексея Павловича Бобринского, так он тогда был еще совсем воин галицкий и так кричал, что окна в министерстве дрожали. Сережа Кушелев даже очень мило нарисовал все это в карикатуре и возил всем показывать, и все очень смеялись.

– Я все это помню.

– Да, это ведь несправедливость, что будто Толстой завел моду ходить пешком и трудиться: Marie это раньше всех, первая стала делать. Она и полы сама мыла и выносила все за больными до гадости. Даже она несколько раз ходила с Николаем Андреевичем в портерные, хотела спасать там каких-то несчастных девчонок, которые их же и просмеяли... Конечно, нельзя же их всех спасать – это глупость: они необходимы, но все-таки со стороны Marie было доброе желание... а как в полиции тогда был Анненков, то он все уладил, и скандала не вышло.

– Я поминую: это смешно рассказывали.

– О, это было преинтересно, но все равно Marie и теперь такая же осталась: «мать Софья и о всех сохнет». Она ни Редстока не ревновала к богу, ни Пашкова, и Толстого теперь не

ревнует: ей как будто они все сродни, а о самой о ней иначе нельзя сказать, как то, что хотя она и сектантка и заблудшая овца, а все-таки в ней очень много доброты и жалости к людям. Это лучше всей ее веры.

– Ах, кажется это так!

– Конечно, что же их вера? Ведь очень многие эти девочки совершенно жалки: мужчины их сманят с собой и бросят... Помните, как это сделал Бертон? Увез, бросил, и живи как хочешь; а Marie проводит всю жизнь в заботах о ком-нибудь. Если хотите найти сердечного человека, идите к ней: у нее всегда есть запас людей «униженных и оскорбленных». Я к ней и обратилась с просьбой порекомендовать мне скромную и правдивую девушку, чтобы не было в доме дурного примера и фальши. Главное, чтобы не было фальши, так как я фальшь ненавижу. А Marie даже обрадовалась. «Ах, как мне приятно слышать, говорит, ваше рассуждение! Ложь – это порок, которым сатана начал порчу человека. Он ведь *обманул* Еву?» Да, да, да, думаю; ты очень начитана, но ты это далеко берешь о прародителях и о сатане, а я тебя просто прошу о горничной девушке.

«Ну да, есть и такая! – отвечает Marie, – у меня теперь приютилась в ожидании места как раз такая превосходная девушка».

«Не притворщица и не побегушка?»

«О, как можно! Она христианка!»

«Да ведь у нас все крещеные и даже православные, но нра-

вы и правила у всех ужасные».

«Нет, что вы: у христиан прекрасные правила! Притом это девушка, которая всегда занята, работает и читает „посредственные книжки“».

«Ага, значит, она толстовка! Ну, ничего: я всякие утопии ненавижу, но прислуге вперять непротивление злу, по-моему, даже прекрасно. Давайте мне вашу непротивленку! Я ее буду отпускать к молению. Где они собираются молиться? Или они совсем не молятся?»

«Не знаю, говорит: это дело совести, об этом не надо спрашивать».

«Конечно, мне бог с ней, как она хочет. Но как ее звать?»

«Федорушка».

«Ай, какое неблагозвучное имя!»

«Отчего же? Очень хорошо! Вы зовите ее Феодора, или даже Theodora. Чего же лучше?»

«Нет, это театрально, я буду звать ее Катя».

«Зачем же?»

«Ну, это, говорю, у меня такой порядок».

Marie не стала возражать и прислала мне свою непротивленку, и вообразите, девушка мне очень понравилась, и я ее наняла.

– Почему? – спросила гостя.

– Семь рублей в месяц.

– Как очень дешево.

– Да. Но она больше и не требовала. Она сама даже совсем

ничего не просила, а сказала: «Сколько буду стоять, столько и положите». Я и назначила. Но позвольте, это ведь не в том дело; а она мне тогда очень понравилась, потому что действительно она выглядела этакая опрятная и скромная. А я, признаться, когда услышала, что она непротивленка, то я опасалась за ее опрятность, так как в ихних книжках ведь есть против мыла, и я помню, няня читала, как на одну святую бросился бесстыжий мурын, но как она никогда мылом не мылась, то этот фоблаз от нее так и отскочил.

– Это ужасно!

– Да, все другие подверглись, а она нет; но я решительно не понимаю, неужели Толстой из-за этого против мыла?

– Ах, нет же! Вы разве забыли, из чего мыло сгущают?

– Из мясного сока.

– Ну вот и разгадка.

– Тетя! – отозвалась из-за трельяжа девушка. – Ну как вам это не стыдно говорить такие вздоры?

– А что такое?

– Из мяса мыла не варят, и притом очень много мыла делают не из животных, а из растительных жиров. Наконец есть яичное мыло, которое вы и покупаете.

– Ах, правда, правда! Точно, есть яичное мыло. Это в Казани, где был губернатор Скарятин; но я его теперь не покупаю. Долго покупала и очень им мылась, но с тех пор, когда был шах персидский и я узнала, что он этим мылом себе ноги моет, мне стало неприятно, и я его больше не покупаю.

– Охота была вам об этом и знать!

– Ну, отчего? Нас в институтах такой гордости не учили.

И, по-моему, лучше интересоваться такими особами, чем неумойками. Я ведь помню, когда Аркадий оканчивал курс, тогда его посещали разные, и приходили и эти непротивленши, и все они были в этой ихней форме, тусклые и в нечищенных сапогах.

– Ужасные «малютки»! – сказала гостья.

– Да, какие-то они... все с курдючками. Подпояшутся, и сзади непременно у них делается курдючок, а лапки без калош – и натопчут. Это неопрятность! Но девушка-непротивленка ко мне пришла совсем в опрятном виде и работала превосходно, но в практической жизни все-таки она оказалась невозможна.

– Почему же?

– Да, да, да! В практической жизни много сторон, и она мне оказалась хуже всех противленок!

– Появился какой-нибудь непротивленш?

– Куда там! Нет! Просто не отгадаете!

III

– Начну хоть с пустяков: пробегаю я ее паспорт и наталкиваюсь опять на то, что там стоит имя Федора. Я говорю ей:

«Моя милая, мне твое имя не нравится (я не люблю говорить людям *вы*), я буду звать тебя Катею». И она сразу же отвечает рассуждением: «Если вам так угодно, чтобы в вашем доме служанка называлась иначе, то мне это все равно: *это обычаи человеческие*»!

– Как это смешно!

– Ужасно смешно. «Обычаи человеческие»... А то еще у них есть «непосредственные обязанности к богу». Но я сама из деревенских барышень и люблю иногда с прислугой поразговаривать. Я и говорю: «Я буду звать тебя Катей, и ты должна откликаться». Отвечает: «Слушаю-с!» – «И еще, говорю, я тебе забыла сказать, что к твоим обязанностям тоже должно относиться, чтобы ты помогала кухарке убирать посуду и подтирала мокрую тряпкой крашенные полы в дальних комнатах». Но что же-с, полы она подтирала и мне на мой зов «Катею» откликалась, а если кто из моих знакомых ее спросит, как ее имя, она всем упорно отвечает: «Федора». Я ей говорю: «Послушай, моя милая! Ведь тебе же сказано и ты должна помнить, что ты теперь Катя! Зачем же ты противоречишь?» А она начинает резонировать: «Я, говорит, сударыня, на ваше приказание откликаюсь, так как вы сказали,

что это такой порядок в вашем доме, и мне это не вредит: но сама я лгать *не могу* ...» – «Что за вздор!» – «Нет, говорит, я лгать не могу, – мне это вредит».

– Какова штучка! – воскликнула гостья. – Она себе вредить не желает!

– О, не желает!.. Да ведь еще и как!.. Это что-то пунктуальное, что-то узкое и упрямое, как сам Мартын Иванович Лютер. Ах, как я не люблю это сухое лютеранство! И как хорошо, что теперь за них у нас взялись. Я спрашиваю:

«Какой тебе вред? Живот, что ли, у тебя заболит или голова?»

«Нет, говорит, живот, может быть, не заболит, но есть вещи, которые важнее живота и головы».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.